

Т е м а у р о к а

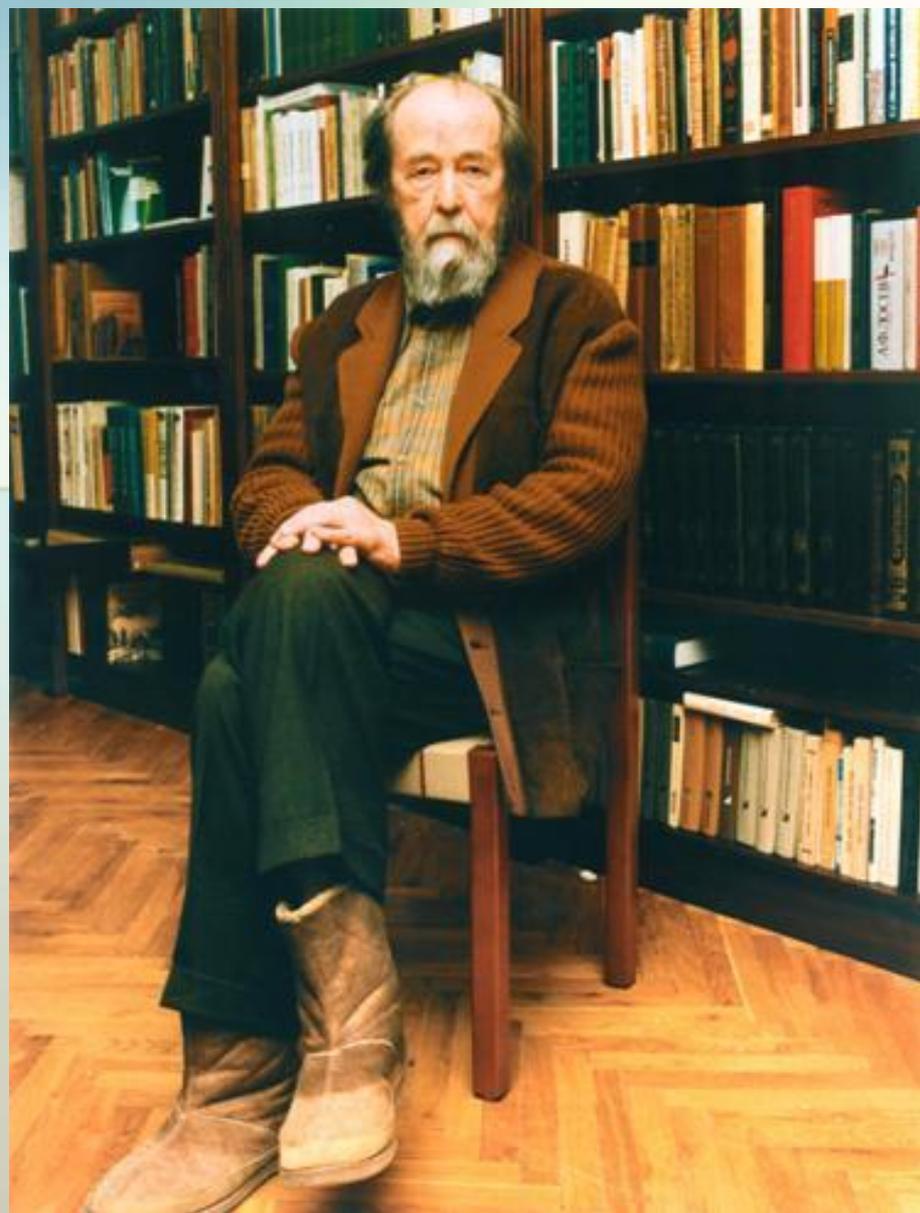
- 1. Сведения из биографии А.И.Солженицына
- 2. Рассказ «Один день Ивана Денисовича»

Александр

Исаевич

Солженицын

(11 декабря 1918-3 августа 2008)



Александр
Исаевич
Солженицын
родился 11
декабря 1918
года в
Кисловодске на
Северном
Кавказе.

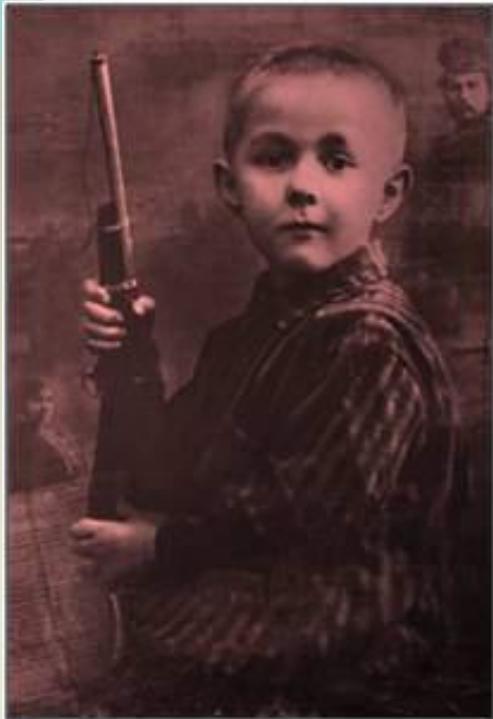


Мать – Таисия
Захаровна Щербак – из
семьи богатого
землевладельца. Отец
– Исаакий Семенович
Солженицын во время
Первой Мировой
войны пошел на фронт
добровольцем и
служил офицером. Он
погиб до рождения
сына, 15 июня 1918
года, уже после
демобилизации (в
результате
несчастливого случая на
охоте).

Исаакий Семенович
Солженицын
изображен под именем
Сани Лаженицына в
эпопее «Красное
Колесо».



**В 1924 году - Ростов - на - Дону.
В младших классах подвергался
насмешкам за ношение крестика и
нежелание вступать в пионеры.
Несмотря на постоянные
материальные и жилищные
трудности, Солженицын в 1936,
закончив среднюю школу, поступил на
физико-математический факультет
Ростовского университета.**



**В 1940 г. он женится
на своей сокурснице
Наталье
Решетовской, а в
1941 г., получив
диплом математика,
заканчивает также
заочное отделение
Института
философии,
литературы и
истории в Москве.**



Окончание физико-математического факультета Ростовского университета и вступление во взрослую жизнь пришлось на 1941 год.

22 июня, получив диплом, он приезжает на экзамены в Московский институт истории, философии, литературы.

Очередная сессия приходится на начало войны.





**Летом 1942 года –
звание лейтенанта, а в
конце – фронт:
Солженицын командует
звукобатареей в
артиллерийской
разведке.**

**Военный опыт
Александра Исаевича и
работа его звукобатареи
отражены в военной
прозе «Желябугские
выселки» и «Адмиг
Швенкиттен».**

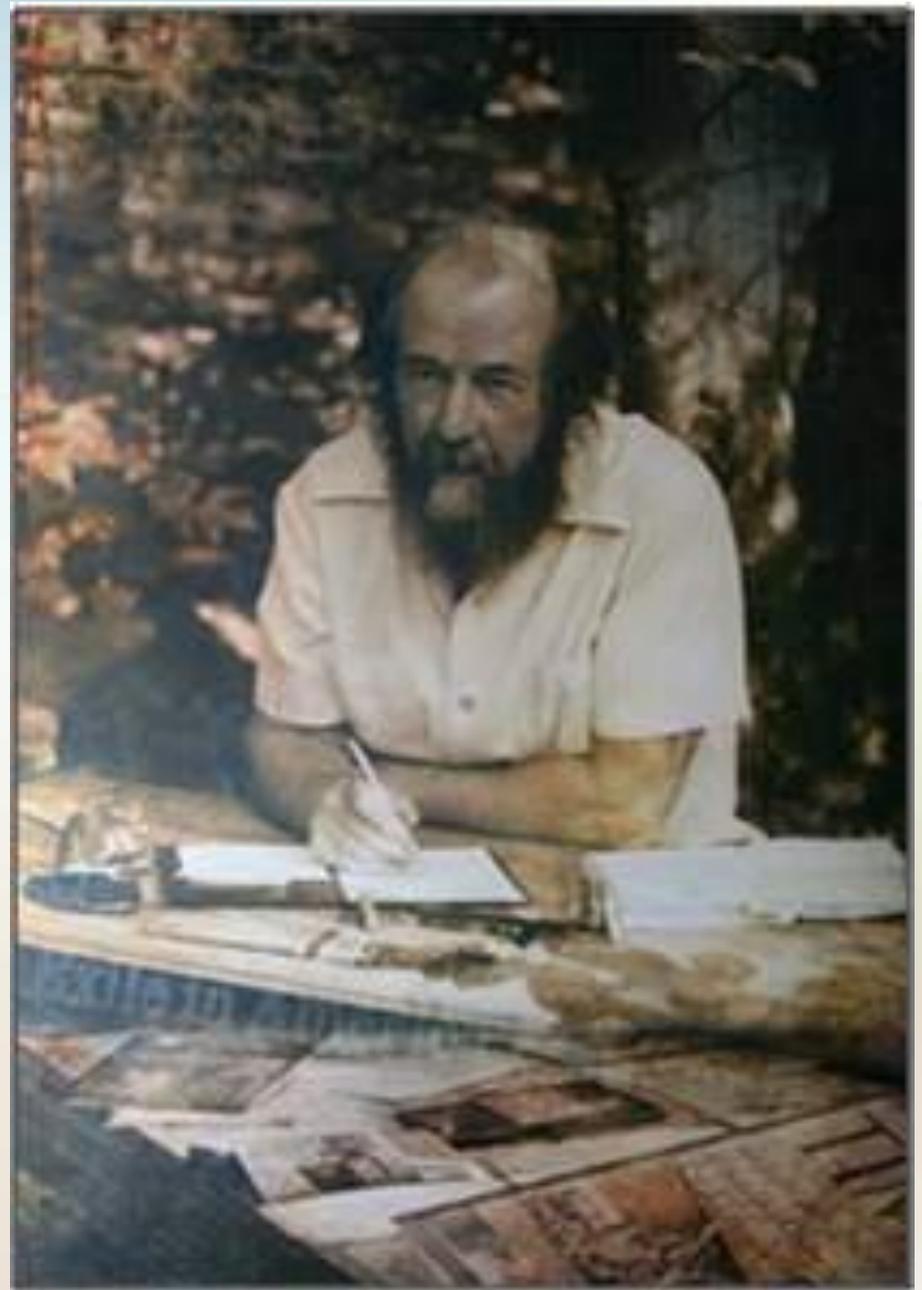
**Офицером-
артиллеристом он
проходит путь от
Орла до
Восточной
Пруссии,
награждается
орденами
Отечественной
войны 2-й степени
и Красной Звезды**

**Произведен в
капитаны.**

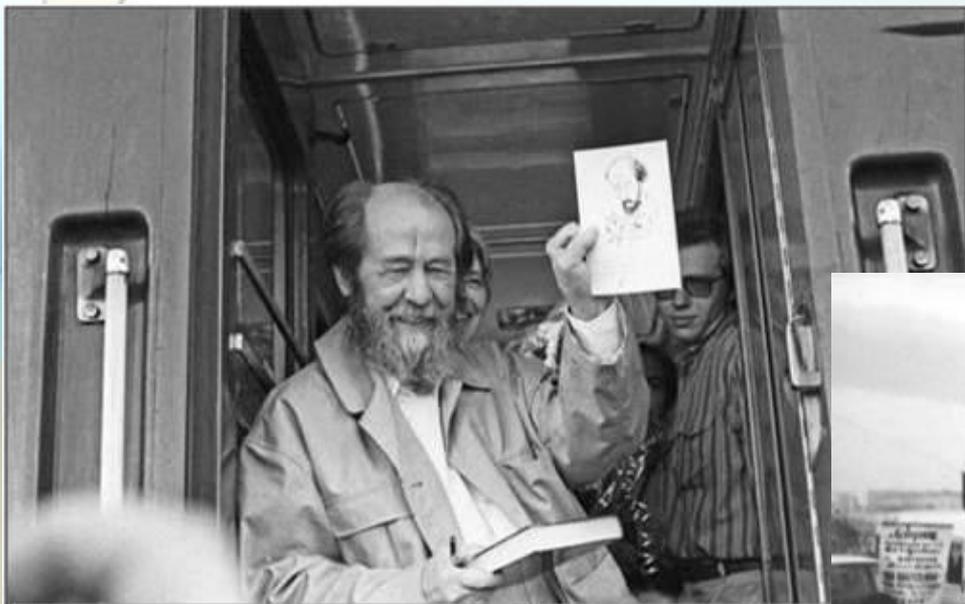


- В 1963 в «Новом мире» опубликовал 3 рассказа: «Матренин двор»(1959); «Случай на станции Кочетовка» (1962) и «Для пользы дела» (1963).
- 11 сентября 1965 сотрудники КГБ изъяли рукописи части стихов, написанных в лагере, романа «В круге первом», цикла прозаических миниатюр «Крохотки» (1958—1960), а также пьес «Пир победителей» (1951) и «Республика труда» (1954).
- В 1966 «Новый мир» опубликовал рассказ Солженицына «Захар-Калита» (1965). После этого произведения писателя не печатали в СССР 22 года.
- В ноябре 1969 Солженицына исключили из Союза писателей.
- В 1970 Александр Исаевич Солженицын стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы.
- В 1974, после опубликования в Париже книги "Архипелаг ГУЛАГ"(1973) писатель-диссидент был арестован.
- 12 февраля 1974 состоялся суд: Александр Солженицын был признан виновным в государственной измене, лишен гражданства и приговорен к высылке из СССР на следующий день.

В 1974—1976 Солженицын жил в Цюрихе (Швейцария). После двух лет пребывания в Цюрихе Александр с семьей переезжает в США и поселяется в штате Вермонт, где писатель завершает третий том «Архипелага ГУЛАГ» (русское издание – 1976, английское – 1978), а также продолжает работу над циклом исторических романов о русской революции, начатым «Августом четырнадцатого» и названным «Красное колесо».



27 мая 1994 Солженицын вернулся в Россию. После своего приезда Солженицын поселился под Москвой, в выделенном ему владении в деревне Троице-Лыково, где продолжил заниматься литературным трудом.



В 1997 избран действительным членом Академии наук Российской Федерации.

В ночь с 3 на 4 августа 2008 года Солженицын скончался.



Его похоронили 6 августа, в центральной части старого кладбища на территории Донского монастыря.

Произведения А. И. Солженицына.

- "Пир победителей" (сатирическая пьеса)
- "Один день Ивана Денисовича" (1959)
- "Матренин двор" (1959-1960)
- "Случай на станции Кречетовка" (1963)
- "Для пользы дела" (1963)
- "Захар-Калита" (1966)
- "В круге первом" (1955-1968)
- "Раковый корпус" (1963-1966)
- "Август 1914" (1971)
- "Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках в четырёх узлах" (1971-1991)
- "Архипелаг ГУЛАГ" (1958-1968)
- "Ленин в Цюрихе" (1975)
- "Бодался телёнок с дубом" (1975-1991)
- "Эго" (1995)
- "На краях"(1995)
- "Молодняк" (1995)
- "Настенька" (1995)
- "Абрикосовое варенье" (1995)
- "Угодило зёрнышко промеж двух жерновов" (1998-2001)
- "Россия в обвале" (1998)
- "Двести лет вместе" (1975-1995)
- "Желябугские выселки" (1999)
- "Адлиг Швенкиттен " (1999)

«Один день Ивана Денисовича»

В пять часов утра, как всегда, пробило подъем -- молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать. Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три желтых фонаря: два -- на зоне, один -- внутри лагеря. И барака что-то не шли отпирать, и не слышать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки -- выносить. Шухов никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему -- до развода было часа полтора времени своего, не казенного, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать: шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вокруг кучи, не выбирать; или пробежать по каптеркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку -- тоже накормят, но там охотников много, отбою нет, а главное -- если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Куз?мина -- старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже двенадцать лет и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:-- Здесь, ребята, закон -- тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подышает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму¹ ходит стучать. Насчет кума -- это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают. Только береженье их -- на чужой крови. Всегда Шухов по подъему вставал, а сегодня не встал. Еще с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало. И ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось -- то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Все не хотелось, чтобы утро. Но утро пришло своим чередом. Да и где тут угреешься -- на окне наледи наметано, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку -- здоровый барак! -- паутинка белая. Иней. Шухов не вставал. Он лежал наверху *вагонки*, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку, в один подвернутый рукав, сунув обе ступни вместе.

Он не видел, но по звукам все понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из восьмиведерных параш. Считается, инвалид, легкая работа, а ну-ка, поди вынеси, не пролья! Вот в 75-й бригаде хлопнули об пол связку валенок из сушилки. А вот -- и в нашей (и наша была сегодня очередь валенки сушить). Бригадир и помбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит. Помбригадир сейчас в хлебрезку пойдет, а бригадир -- в штабной барак, к нарядчикам. Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит, -- Шухов вспомнил: сегодня судьба решается -- хотят их 104-ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект "Соцбытгородок". А Соцбытгородок тот -- поле голое, в увалах снежных, и прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать -- чтоб не убежать. А потом строить. Там, верное дело, месяц погреться негде будет -- ни конурки. И костра не разведешь -- чем топить? Вкалывай на совесть -- одно спасение. Бригадир озабочен, уладить идет. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, заместо себя туда толкануть. Конечно, с пустыми руками не договоришься. Полкило сала старшему нарядчику понести. А то и килограмм. Испыток не убыток, не попробовать ли в санчасти *косануть*, от работы на денек освободиться? Ну прямо все тело разнимает. И еще -- кто из надзирателей сегодня дежурит? Дежурит -- вспомнил: Полтора Ивана, худой да долгий сержант черноокий. Первый раз глянешь -- прямо страшно, а узнали его -- из всех дежурняков покладистей: ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно, аж пока в столовую девятый барак. Вагонка затряслась и закачалась. Вставали сразу двое: наверху -- сосед Шухова баптист Алешка, а внизу -- Буйновский, капитан второго ранга бывший, кавторанг. Старики дневальные, вынеся обе параша, забранились, кому идти за кипятком. Бранились привязчиво, как бабы. Электросварщик из 20-й бригады рявкнул:-- Эй, *фитили!* -- и запустил в них валенком. -- Помирю! Валенки глухо стукнулись об столб. Замолчали. В соседней бригаде чуть буркотел помбригадир:-- Василь Федорыч! В продстоле передернули, гады: было девятисоток четыре, а стало три только. Кому ж недодать? Он тихо это сказал, но уж, конечно, вся та бригада слышала и затаилась: от кого-то вечером кусочек отрежут. А Шухов лежал и лежал на спрессовавшихся опилках своего матрасика.

Хотя бы уж одна сторона брала -- или забило быв ознобе, или ломота прошла. А то ни то ни с?. Пока баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно: -- Ну, держись, краснофлотцы! Тридцать градусов верных! И Шухов решился -- идти в санчасть. И тут же чья-то имеющая власть рука сдернула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней нарой вагонки, стоял худой Татарин. Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо. -- Ще -- восемьсот пятьдесят четыре! -- прочел Татарин с белой латки на спине черного бушлата. -- *Трое суток кондея с выводом!* И едва только раздался его особый сдавленный голос, как во всем полутемном бараке, где лампочка горела не каждая, где на полусотне клопняных вагонок спало двести человек, сразу заворочались и стали поспешно одеваться все, кто еще не встал. -- За что, гражданин начальник? -- придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов. С выводом на работу -- это еще полкарцера, и горячее дадут, и задумываться некогда. Полный карцер -- это когда *без вывода*. -- По подъему не встал? Пошли в комендатуру, -- пояснил Татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей. На безволосом мятом лице Татарина ничего не выражалось. Он обернулся, ища второго кого бы, но все уже, кто в полутьме, кто под лампочкой, на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в черные ватные брюки с номерами на левом колене или, уже одетые, запахивались и спешили к выходу -- переждать Татарина на дворе. Если б Шухову дали карцер за что другое, где б он заслужил -- не так бы было обидно. То и обидно было, что всегда он вставал из первых. Но отпроситься у Татарина было нельзя, он знал. И, продолжая отпрашиваться просто для порядка, Шухов, как был в ватных брюках, не снятых на ночь (повыше левого колена их тоже был пришит затасканный, погрязневший лоскут, и на нем выведен черной, уже поблекшей краской номер Щ-854), надел телогрейку (на ней таких номера было два -- на груди один и один на спине), выбрал свои валенки из кучи на полу, шапку надел (с таким же лоскутом и номером спереди) и вышел вслед за Татаринцем. Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал: ни к чему, да и что скажешь? Бригадир бы мог маленько вступитьяся, да уж его не было. И Шухов тоже никому ни слова не сказал, Татарина не стал дразнить.

Приберегут завтрак, догадаются. Так и вышли вдвоем. Мороз был со мглой, прихватывающей дыхание. Два больших прожектора били по зоне наперекрест с дальних угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было натыкано, что они совсем засветляли звезды. Скрипя валенками по снегу, быстро пробежали зэки по своим делам -- кто в уборную, кто в каптерку, иной -- на склад посылок, тот крупу сдавать на индивидуальную кухню. У всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно не так от мороза, как от думки, что и день целый на этом морозе пробыть. А Татарин в своей старой шинели с замусленными голубыми петлицами шел ровно, и мороз как будто совсем его не брал. Они прошли мимо высокого дощаного заплота вокруг БУРа² -- каменной внутрилагерной тюрьмы; мимо колючки, охранявшей лагерную пекарню от заключенных; мимо угла штабного барака, где, толстой проволокою подхваченный, висел на столбе обындевевший рельс; мимо другого столба, где в затишке, чтоб не показывал слишком низко, весь обметанный инеем, висел термометр. Шухов с надеждой покосился на его молочно-белую трубочку: если б он показал сорок один, не должны бы выгонять на работу. Только никак сегодня не натягивало на сорок. Вошли в штабной барак и сразу же -- в надзирательскую. Там разъяснилось, как Шухов уже смекнул и по дороге: никакого карцера ему не было, а просто пол в надзирательской не мыт. Теперь Татарин объявил, что прощает Шухова, и велел ему вымыть пол. Мыть пол в надзирательской было дело специального зэка, которого не выводили за зону, -- дневального по штабному бараку прямое дело. Но, давно в штабном бараке обжившись, он доступ имел в кабинеты майора, и начальника режима, и кума, служивал им, порой слышал такое, чего не знали и надзиратели, и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко. Те позвали его раз, другой, поняли, в чем дело, и стали *дергать* на полы из работяг. В надзирательской яро топилась печь. Раздевшись до грязных своих гимнастеров, двое надзирателей играли в шашки, а третий, как был, в перепоясанном тулупе и валенках, спал на узкой лавке. В углу стояло ведро с тряпкой. Шухов обрадовался и сказал Татарину за прощение: -- Спасибо, гражданин начальник! Теперь никогда не буду залеживаться. Закон здесь был простой: кончишь -- уйдешь.

Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало. Он взял ведро и без рукавичек (наскорях забыл их под подушкой) пошел к колодцу. Бригадир, ходивший в ППЧ -- планово-производственную часть, -- столпился несколько у столба, а один, помоложе, бывший Герой Советского Союза, взлез на столб и протирал термометр. Снизу советовали: -- Ты только в сторону дыши, а то поднимется. -- Фуимется! -- поднимется!... не влияет. Тюрина, шуховского бригадира, меж них не было. Поставив ведро и сплетя руки в рукава, Шухов с любопытством наблюдал. А тот хрипло сказал со столба: -- Двадцать семь с половиной, хреновина. И, еще доглядев для верности, прыгнул. -- Да он неправильный, всегда брешет, -- сказал кто-то. -- Разве правильный в зоне повесят? Бригадир разошлись. Шухов побежал к колодцу. Под спущенными, но не завязанными наушниками поламывало уши морозом. Сруб колодца был в толстой обледи, так что едва пролезало в дыру ведро. И веревка стояла коло'м. Рук не чувствуя, с дымящимся ведром Шухов вернулся в надзирательскую и сунул руки в колодезную воду. Потеплело. Татарина не было, а надзирателей сбилось четверо, они покинули шашки и сон и спорили, по скольку им дадут в январе пшена (в поселке с продуктами было плохо, и надзирателям, хоть карточки давно кончились, продавали кой-какие продукты отдельно от поселковых, со скидкой). -- Дверь-то притягивай, ты, падло! Дует! -- отвлекся один из них. Никак не годилось с утра мочить валенки. А и переобуться не во что, хоть и в барак побеги. Разных порядков с обувью наглядился Шухов за восемь лет сидки: бывало, и вовсе без валенок зиму перехаживали, бывало, и ботинок тех не видали, только лапти да ЧТЗ (из резины обутка, след автомобильный). Теперь вроде с обувью подналадилось: в октябре получил Шухов (а почему получил -- с помбригадиром вместе в каптерку увязался) ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две теплых портянки. С неделю ходил как именинник, все новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели -- житуха, умирать не надо. Так какой-то черт в бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, непорядок -- чтобы зэк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навывлет, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берег, солидолом умягчал, ботинки новехонькие, ах! -- ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинков.

В одну кучу скинули, весной уж твои не будут. Точно, как лошадей в колхоз сгоняли. Сейчас Шухов так догадался: проворно вылез из валенок, составил их в угол, скинул туда тряпки (ложка звякнула на пол; как быстро ни снаряжался в карцер, а ложку не забыл) и босиком, щедро разливая тряпкой воду, ринулся под валенки к надзирателям. -- Ты! гад! потише! -- спохватился один, подбирая ноги на стул. -- Рис? Рис по другой норме идет, с рисом ты не равняй! -- Да ты сколько воды набираешь, дурак? Кто ж так моет? -- Гражданин начальник! А иначе его не вымоешь. Въелась грязь-то... -- Ты хоть видал когда, как твоя баба полы мыла, чушка? Шухов распрямылся, держа в руке тряпку со стекающей водой. Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прореженных цингой в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда он доходил. Так доходил, что кровавым поносом начисто его пронесило, истощенный желудок ничего принимать не хотел. А теперь только шепелявенье от того времени и осталось. -- От бабы меня, гражданин начальник, в сорок первом году отставили. Не упомню, какая она и баба. -- Та'к вот они моют... Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить. -- Да на хрена' его и мыть каждый день? Сырость не переводится. Ты вот что, слышь, восемьсот пятьдесят четвертый! Ты легонько протри, чтоб только мокровато было, и вали отсюда. -- Рис! Пш?нку с рисом ты не равняй! Шухов бойко управлялся. Работа -- она как палка, конца в ней два: для людей делаешь -- качество дай, для начальника делаешь -- дай показуху. А иначе б давно все подошли, дело известное. Шухов протер доски пола, чтобы пятен сухих не осталось, тряпку невыжатую бросил за печку, у порога свои валенки натянул, выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство, -- и наискось, мимо бани, мимо темного охолодавшего здания клуба, наддал к столовой. Надо было еще и в санчасть поспеть, ломало опять всего. И еще надо было перед столовой надзирателям не попасться: был приказ начальника лагеря строгий -- одиночек отставших ловить и сажать в карцер. Перед столовой сегодня -- случай такой дивный -- толпа не густилась, очереди не было. Заходи. Внутри стоял пар, как в бане, -- на'пуски мороза от дверей и пар от баланды. Бригады сидели за столами или толкались в проходах, ждали, когда места освободятся.

Прокликаясь через тесноту, от каждой бригады работяги по два, по три носили на деревянных подносах миски с баландой и кашей и искали для них места на столах. И все равно не слышит, обалдуй, спина еловая, на' тебе, толкнул поднос. Плесь, плесь! Рукой его свободной -- по шее, по шее! Правильно! Не стой на дороге, не высматривай, где подлизать. Там, за столом, еще ложку не окунувши, парень молодой крестится. Бендеровец, значит, и то новичок: старые бендеровцы, в лагере пожив, от креста отстали. А русские -- и какой рукой креститься, забыли. Сидеть в столовой холодно, едят больше в шапках, но не спеша, вылавливая разварки тленной мелкой рыбешки из-под листьев черной капусты и выплевывая косточки на стол. Когда их наберется гора на столе -- перед новой бригадой кто-нибудь смахнет, и там они дохрястывают на полу. А прямо на пол кости плевать -- считается вроде бы неаккуратно. Посреди барака шли в два ряда не то столбы, не то подпорки, и у одного из таких столбов сидел однобригадник Шухова Фетюков, стерег ему завтрак. Это был из последних бригадников, поплоче Шухова. Снаружи бригада вся в одних черных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно -- ступеньками идет. Буйновского не посадишь с миской сидеть, а и Шухов не всякую работу возьмет, есть пониже. Фетюков заметил Шухова и вздохнул, уступая место. -- Уж застыло все. Я за тебя есть хотел, думал -- ты в кондее. И -- не стал ждать, зная, что Шухов ему не оставит, обе миски отштукатурит дочиста. Шухов вытянул из валенка ложку. Ложка та была ему дорога, прошла с ним весь север, он сам отливал ее в песке из алюминиевого провода, на ней и наколка стояла: "Усть-Ижма, 1944". Потом Шухов снял шапку с бритой головы -- как ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке -- и, взмучивая отстоявшуюся баланду, быстро проверил, что там попало в миску. Попало так, средне. Не с начала бака наливали, но и не доболтки. С Фетюкова станет, что он, миску стережа, из нее картошку выловил. Одна радость в баланде бывает, что горяча, но Шухову досталась теперь совсем холодная. Однако он стал есть ее так же медленно, внимательно. Уж тут хоть крыша гори -- спешить не надо. Не считая сна, лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином. Баланда не менялась ото дня ко дню, зависело -- какой овощ на зиму заготовят.

В летошнем году заготовили одну соленую морковку -- так и прошла баланда на чистой моркошке с сентября до июня. А нонче -- капуста черная. Самое сытное время лагернику -- июнь: всякий овощ кончается и заменяют крупой. Самое худое время -- июль: крапиву в котел секут. Из рыбки мелкой попадались все больше кости, мясо с костей сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте держалось. На хрупкой сетке рыбьего скелета не оставив ни чешуйки, ни мясинки, Шухов еще мял зубами, высасывал скелет -- и выплевывал на стол. В любой рыбе ел он все: хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они на месте попадались, а когда вываривались и плавали в миске отдельно -- большие рыбы глаза, -- не ел. Над ним за то смеялись. Сегодня Шухов сэкономил: в барак не зашедши, пайки не получил и теперь ел без хлеба. Хлеб -- его потом отдельно нажать можно, еще сытей. На второе была каша из магары. Она застыла в один слиток, Шухов ее отламывал кусочками. Магара не то что холодная -- она и горячая ни вкуса, ни сытости не оставляет: трава и трава, только желтая, под вид пшена. Придумали давать ее вместо крупы, говорят -- от китайцев. В вареном весе триста грамм тянет -- и лады: каша не каша, а идет за кашу. Облизав ложку и засунув ее на прежнее место в валенок, Шухов надел шапку и пошел в санчасть. Было все так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звезды. И все так же широкими струями два прожектора резали лагерную зону. Как этот лагерь, Особый, зачинали -- еще фронтowych ракет осветительных больно много было у охраны, чуть погаснет свет -- сыпят ракетами над зоной, белыми, зелеными, красными, война настоящая. Потом не стали ракет кидать. Или до'роги обходятся? Была все та же ночь, что и при подъеме, но опытному глазу по разным мелким приметам легко было определить, что скоро ударят развод. Помощник Хромого (дневальный по столовой Хромой от себя кормил и держал еще помощника) пошел звать на завтрак инвалидный шестой барак, то есть не выходящих за зону. В культурно-воспитательную часть поплелся старый художник с бородкой -- за краской и кисточкой, номера писать. Опять же Татарин широкими шагами, спеша, пересек *линейку* в сторону штабного барака. И вообще снаружи народу поменело -- значит, все приткнулись и греются последние сладкие минуты. Шухов проворно спрятался от Татарина за угол барака: второй раз попадешься -- опять пригреб?тся. Да и никогда зевать нельзя.

Стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали ж вот приказ по баракам -- перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть. Иной надзиратель бредет, как слепой, ему все равно, а для других это сласть. Сколько за ту шапку в кондей перетаскали, псы клятые. Нет уж, за углом перестоим. Миновал Татарин -- и уже Шухов совсем намерился в санчасть, как его озарило, что ведь сегодня утром до развода назначил ему длинный латыш из седьмого барака прийти купить два стакана самосада, а Шухов захопотался, из головы вон. Длинный латыш вечером вчера получил посылку, и, может, завтра уж этого самосаду не будет, жди тогда месяц новой посылки. Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый. Буроватенький такой. Раздосадовался Шухов, затоптался -- не повернуть ли к седьмому бараку. Но до санчасти совсем мало оставалось, он и потрусил к крыльцу санчасти. Слышно скрипел снег под ногами. В санчасти, как всегда, до того было чисто в коридоре, что страшно ступать по полу. И стены крашены эмалевой белой краской. И белая вся мебель. Но двери кабинетов были все закрыты. Врачи-то, поди, еще с постелей не подымались. А в дежурке сидел фельдшер -- молодой парень Коля Вдовушкин, за чистым столиком, в свеженьком белом халате -- и что-то писал. Никого больше не было. Шухов снял шапку, как перед начальством, и, по лагерной привычке лезть глазами куда не следует, не мог не заметить, что Николай писал ровными-ровными строчками и каждую строчку, отступя от края, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это -- не работа, а по левой, но ему до того не было дела. -- Вот что... Николай Семеныч... я вроде это... болен... -- совестливо, как будто зарясь на что чужое, сказал Шухов. Вдовушкин поднял от работы спокойные, большие глаза. На нем был чепчик белый, халат белый, и номеров видно не было. -- Что ж ты поздно так? А вечером почему не пришел? Ты же знаешь, что утром приема нет? Список освобожденных уже в ППЧ. Все это Шухов знал. Знал, что и вечером освободиться не проще. -- Да ведь, Коля... Оно с вечера, когда нужно, так и не болит... -- А что -- оно? Оно -- что болит? -- Да разобраться, бывает, и ничего не болит. А недужит всего. Шухов не был из тех, кто липнет к санчасти, и Вдовушкин это знал.

Но право ему было дано освободить утром только двух человек -- и двух он уже освободил, и под зеленоватым стеклом на столе записаны были эти два человека, и подведена черта. -- Так надо было беспокоиться раньше. Что ж ты -- под самый развод? На! Вдовушкин вынул термометр из банки, куда они были спущены сквозь прорези в марле, обтер от раствора и дал Шухову держать. Шухов сел на скамейку у стены, на самый краешек, только-только чтоб не перекувырнуться вместе с ней. Неудобное место такое он избрал даже не нарочно, а показывая невольно, что санчасть ему чужая и что пришел он в нее за малым. А Вдовушкин писал дальше. Санчасть была в самом глухом, дальнем углу зоны, и звуки сюда не достигали никакие. Ни ходики не стучали -- заключенным часов не положено, время за них знает начальство. И даже мыши не скребли -- всех их повыловил больничный кот, на то поставленный. Было дивно Шухову сидеть в такой чистой комнате, в тишине такой, при яркой лампе целых пять минут и ничего не делать. Осмотрел он все стены -- ничего на них не нашел. Осмотрел телогрейку свою -- номер на груди пообтерся, каб не зацапали, надо подновить. Свободной рукой еще бороду опробовал на лице -- здоровая выперла, с той бани растет, дней боле десяти. А и не мешает. Еще дня через три баня будет, тогда и побреют. Чего в парикмахерской зря в очереди сидеть? Красоваться Шухову не для кого. Потом, глядя на беленький-беленький чепчик Вдовушкина, Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловать, как он пришел туда с поврежденной челюстью и -- недотыка ж хренова! -- доброй волею в строй вернулся. А мог пяток дней полежать. Теперь вот грезится: заболеть бы недельки на две, на три не насмерть и без операции, но чтобы в больничку положили, -- лежал бы, кажется, три недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым -- лады. Но, вспомнил Шухов, теперь и в больничке отлежу нет. С каким-то этапом новый доктор появился -- Степан Григорьич, гонкий такой да звонкий, сам сумутится, и больным нет покою: выдумал всех ходячих больных выгонять на работу при больнице: загородку городить, дорожки делать, на клумбы землю нашивать, а зимой -- снегозадержание. Говорит, от болезни работа -- первое лекарство. От работы лошади дохнут. Это понимать надо. Ухайдакался бы сам на каменной кладке -- небось бы тихо сидел. ...А Вдовушкин писал свое. Он, вправду, занимался работой "левой", но для Шухова непостижимой.

Он переписывал новое длинное стихотворение, которое вчера отделал, а сегодня обещал показать Степану Григорьичу, тому самому врачу. Как это делается только в лагерях, Степан Григорьич и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером, поставил его на работу фельдшером, и стал Вдовушкин учиться делать внутривенные уколы на темных работагах, да на смирных литовцах и эстонцах, кому и в голову никак бы не могло вступить, что фельдшер может быть вовсе и не фельдшером. Был же Коля студент литературного факультета, арестованный со второго курса. Степан Григорьич хотел, чтоб он написал в тюрьме то, чего ему не дали на воле. ...Сквозь двойные, непрозрачные от белого льда стекла еле слышно донесся звонок развода. Шухов вздохнул и встал. Знобило его, как и раньше, но косануть, видно, не проходило. Вдовушкин протянул руку за термометром, посмотрел. -- Видишь, ни то ни с?, тридцать семь и две. Было бы тридцать восемь, так каждому ясно. Я тебя освободить не могу. На свой страх, если хочешь, останься. После проверки посчитает доктор больным -- освободит, а здоровым -- отказчик, и в БУР. Сходи уж лучше за зону. Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел. Теплый зяблого разве когда поймет? Мороз жал. Мороз едкой мглицей больно охватил Шухова и вынудил его закашляться. В морозе было двадцать семь, в Шухове тридцать семь. Теперь кто кого. Трусцой побежал Шухов в барак. Линейка напролет была вся пуста, и лагерь весь стоял пуст. Была та минутка короткая, разморчивая, когда уже все оторвано, но прикидываются, что нет, что не будет развода. Конвой сидит в теплых казармах, сонные головы прислоня к винтовкам, -- тоже им не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться. Вахтеры на главной вахте подбрасывают в печку угля. Надзиратели в надзирательской докуривают последнюю сигарку перед обыском. А заключенные, уже одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми веревочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза, -- лежат на нарах поверх одеял в валенках и, глаза закрыв, обмирают. Аж пока бригадир крикнет: "Па-дъем!" Дремала со всем девятым бараком и 104-я бригада. Только помбригадир Павло, шевеля губами, что-то считал карандашиком да на верхних нарах баптист Алешка, сосед Шухова, чистенький, приумытый, читал свою записную книжку, где у него была переписана половина евангелия.

Шухов вбежал хоть и стремглав, а тихо совсем, и -- к помбригадировой вагонке. Павло поднял голову. -- Нэ посадылы, Иван Денисыч? Живы? (Украинцев западных никак не переучат, они и в лагере по отчеству да выкают). И, со стола взявши, протянул пайку. А на пайке -- сахару черпачок опрокинут холмиком белым. Очень спешил Шухов и все ж ответил прилично (помбригадир -- тоже начальство, от него даже больше зависит, чем от начальника лагеря). Уж как спешил, с хлеба сахар губами забрал, языком подлизнул, одной ногой на кронштейник -- лезть наверх постель заправлять, -- а пайку так и так посмотрел, и рукой на лету взвесил: есть ли в ней те пятьсот пятьдесят грамм, что положены. Паек этих тысячу не одну переполучал Шухов в тюрьмах и в лагерях, и хоть ни одной из них на весах проверить не пришлось, и хоть шуметь и *качать права* он, как человек робкий, не смел, но всякому арестанту и Шухову давно понятно, что, честно вешая, в хлеборезке не удержишься. Недодача есть в каждой пайке -- только какая, велика ли? Вот два раза на день и смотришь, душу успокоить -- может, сегодня обманули меня не круто? Может, в моей-то граммы почти все? -- Грамм двадцать не дотягивает, -- решил Шухов и преломил пайку надвое. Одну половину за пазуху сунул, под телогрейку, а там у него карманчик белый специально пришит (на фабрике телогрейки для зэков шьют без карманов). Другую половину, сэкономленную за завтраком, думал и съесть тут же, да наспех еда не еда, пройдет даром, без сытости. Потянулся сунуть полпайки в тумбочку, но опять раздумал: вспомнил, что дневальные уже два раза за воровство биты. Барак большой, как двор проезжий. И потому, не выпуская хлеба из рук, Иван Денисович вытянул ноги из валенок, ловко оставив там и портянки и ложку, взлез босой наверх, расширил дырочку в матрасе и туда, в опилки, спрятал свои полпайки. Шапку с головы содрал, вытащил из нее иголку с ниточкой (тоже запрятана глубоко, на *шмоне* шапки тоже щупают; однава' надзиратель об иголку накололся, так чуть Шухову голову со злости не разбил). Стежь, стежь, стежь -- вот и дырочку за пайкой спрятанной прихватил. Тем временем сахар во рту дотаял. Все в Шухове было напряжено до крайности -- вот сейчас нарядчик в дверях заорет. Пальцы Шухова славно шевелились, а голова, забегающая вперед, располагала, что дальше. Баптист читал евангелие не вовсе про себя, а как бы в дыхание.

-- "Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь". За что Алешка молодец: эту книжечку свою так заса'вывает ловко в щель в стене -- ни на едином шмоне еще не нашли. Теми же быстрыми движениями Шухов свесил на перекладину бушлат, повытаскивал из-под матраса рукавички, еще пару худых портянок, веревочку и тряпочку с двумя рубезками. Опилки в матрасе чудок разровнял (тяжелые они, сбитые), одеяло вкруговую подоткнул, подушку кинул на место -- босиком же слез вниз и стал обуваться, сперва в хорошие портянки, новые, потом в плохие, поверх. И тут бригадир прогаркнулся, встал и объявил: -- Кон-ча'й ночевать, сто четвертая! Вы'-ходи"! И сразу вся бригада, дремала ли, не дремала, встала, зазевала и пошла к выходу. Бригадир девятнадцать лет сидит, он на развод минутой раньше не выгонит. Сказал -- "выходи!" -- значит, край выходить. И пока бригадники, тяжело ступая, без слова выходили один за другим сперва в коридор, потом в сени и на крыльцо, а бригадир 20-й, подражая Тюрину, тоже объявил: "Вы-ходи!" -- Шухов доспел валенки обуть на две портянки, бушлат надеть сверх телогрейки и туго вспоясаться веревочкой (ремни кожаные были у кого, так отобрали -- нельзя в Особлагере). Так Шухов все успел и в сенях нагнал последних своих бригадников -- спины их с номерами выходили через дверь на крылечко. Толстоватые, наворачнувшие на себя все, что только было из одежды, бригадники наискосок, гуськом, не домогаясь друг друга нагнать, тяжело шли к линейке и только поскрипывали. Все еще темно было, хотя небо с восхода зеленело и светлело. И тонкий, злой потягивал с восхода ветерок. Вот этой минуты горше нет -- на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается. Говорить друг с другом не захочешь. У линейки метался младший нарядчик. -- Ну, Тюрин, сколько ждать? Опять тянешься? Младшего-то нарядчика разве Шухов боится, только не Тюрин. Он ему и дых по морозу зря не погонит, топает себе молча. И бригада за ним по снегу: топ-топ, скрип-скрип. А килограмм сала, должно, отнес -- потому что опять в свою колонну пришла 104-я, по соседним бригадам видать. На Соцгородок победней да поглупей кого погонят. Ой, лють там сегодня будет: двадцать семь с ветерком, ни укрыва, ни грева!

Бригадиру сала много надо: и в ППЧ нести и свое брюхо утолакивать. Бригадир хоть сам посылки не получает -- без сала не сидит. Кто из бригады получит -- сейчас ему дар несет. А иначе не проживешь. Старший нарядчик отмечает по дощечке: -- У тебя, Тюрин, сегодня один болен, на выходе двадцать три? -- Двадцать три, -- бригадир кивает. Кого ж нет? Пантелеева нет. Да разве он болен? И сразу шу-шу-шу по бригаде: Пантелеев, сука, опять в зоне остался. Ничего он не болен, опер его оставил. Опять будет стучать на кого-то. Днем его вызовут без помех, хоть три часа держи, никто не видел, не слышал. А проводят по санчасти... Вся линейка чернела от бушлатов -- и вдоль ее медленно переталкивались бригады вперед, к шмону. Вспомнил Шухов, что хотел обновить номерок на телогрейке, протискался через линейку на тот бок. Там к художнику два-три зэка в очереди стояли. И Шухов стал. Номер нашему брату -- один вред, по нему издали надзиратель тебя заметит, и конвой запишет, а не обновишь номера впору -- тебе же и кондей: зачем об номере не заботишься? Художников в лагере трое, пишут для начальства картины бесплатные, а еще в черед ходят на развод номера писать. Сегодня старик с бородкой седенькой. Когда на шапке номер пишет кисточкой -- ну, точно как поп миром лбы мажет. Помалюет, помалюет и в перчатку дышит. Перчатка вязаная, тонкая, рука окостеневает, чисел не выводит. Художник обновил Шухову "Щ-854" на телогрейке, и Шухов, уже не запахивая бушлата, потому что до шмона оставалось недалеко, с веревочкой в руке догнал бригаду. И сразу разглядел: однобригадник его Цезарь курил, и курил не трубку, а сигарету -- значит, подстрельнуть можно. Но Шухов не стал прямо просить, а остановился совсем рядом с Цезарем и вполоборота глядел мимо него. Он глядел мимо и как будто равнодушно, но видел, как после каждой затяжки (Цезарь затягивался редко, в задумчивости) ободок красного пепла передвигался по сигарете, убавляя ее и подбираясь к мундштуку. Тут же и Фетюков, шакал, подсосался, стал прямо против Цезаря и в рот ему засматривает, и глаза горят. У Шухова ни табачинки не осталось, и не предвидел он сегодня прежде вечера раздобыть -- он весь напрягся в ожидании, и желанней ему сейчас был этот хвостик сигареты, чем, кажется, воля сама, -- но он бы себя не уронил и так, как Фетюков, в рот бы не смотрел. В Цезаре всех наций намешано: не то он грек, не то еврей, не то цыган -- не поймешь. Молодой еще. Картины снимал для кино.

Но и первой не доснял, как его посадили. У него усы черные, слитые, густые. Потому не сбрили здесь, что на деле так снят, на карточке. -- Цезарь Маркович! -- не выдержав, прослюнявил Фетюков. -- Да-айте разок потянуть! И лицо его передергивалось от жадности и желания. ...Цезарь приоткрыл веки, полуспущенные над черными глазами, и посмотрел на Фетюкова. Из-за того он и стал курить чаще трубку, чтоб не перебивали его, когда он курит, не просили дотянуть. Не табака ему было жалко, а прерванной мысли. Он курил, чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то. Но едва он поджигал сигарету, как сразу в нескольких глазах видел: "Оставь докурить!" ...Цезарь повернулся к Шухову и сказал: -- Возьми, Иван Денисыч! И большим пальцем вывернул горящий недокурок из янтарного короткого мундштука. Шухов встрепенулся (он и ждал так, что Цезарь сам ему предложит), одной рукой поспешно благодарно брал недокурок, а второю страховал снизу, чтоб не обронить. Он не обижался, что Цезарь брезговал дать ему докурить в мундштуке (у кого рот чистый, а у кого и гунявый), и пальцы его закаленные не обжигались, держась за самый огонь. Главное, он Фетюкова-шакала пересек и вот теперь тянул дым, пока губы стали гореть от огня. М-м-м-м! Дым разошелся по голодному телу, и в ногах отдалось и в голове. И только эта благость по телу разлилась, как услышал Иван Денисович гул: -- Рубахи нижние отбирают!... Так и вся жизнь у зэка, Шухов привык: только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись. Почему -- рубахи? Рубахи ж сам начальник выдавал?!... Не, не так... Уж до шмона оставалось две бригады впереди, и вся 104-я разглядела: подошел от штабного барака начальник режима лейтенант Волково'й и крикнул что-то надзирателям. И надзиратели, без Волкового шмонявшие кое-как, тут зарьялись, кинулись, как звери, а старшина их крикнул: -- Ра-асстегнуть рубахи! Волкового не то что зэки и не то что надзиратели -- сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот Бог шельму метит, фамильицу дал! -- иначе, как волк, Волковой не смотрит. Темный, да длинный, да насупленный -- и носится быстро. Вынырнет из-за барака: "А тут что собрались?" Не ухоронишься. Поперву он еще плетку таскал, как рука до локтя, кожаную, крученую. В БУРе ею сек, говорят. Или на проверке вечерней столпятся зэки у барака, а он подкрадетсся сзади да хлесь плетью по шее: "Почему в строй не стал, падло?" Как волной от него толпу шархнет.

Обожженный за шею схватится, вытрет кровь, молчит: каб еще БУРа не дал. Теперь что-то не стал плетку носить. В мороз на простом шмоне не по вечерам, так хоть утром порядок был мягкий: заключенный расстегивал бушлат и отводил его полы в стороны. Так шли по пять, и пять надзирателей навстречу стояло. Они обхлопывали зэка по бокам опоясанной телогрейки, хлопали по единственному положенному карману на правом колене, сами бывали в перчатках, и если что-нибудь непонятное нащупывали, то не вытягивали сразу, а спрашивали, лентясь: "Это -- что?" Утром что' искать у зэка? Ножи? Так их не из лагеря носят, а в лагерь. Утром проверить надо, не несет ли с собой еды килограмма три, чтобы с нею сбежать. Было время, так та'к этого хлеба боялись, кусочка двухсотграммового на обед, что был приказ издан: каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чем тут они, враги, располагали выгадать -- нельзя додуматься, а скорей чтобы людей мучить, забота лишняя: пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан, а они, куски, все равно похожие, все из одного хлеба, и всю дорогу об том думай и мучайся, не подменят ли твой кусок, да друг с другом спорь, иногда и до драки. Только однажды сбежали из производственной зоны трое на автомашине и такой чемодан хлеба прихватили. Опомнились тогда начальнички и все чемоданы на вахте порубали. Носи, мол, опять всяк себе. Еще проверить утром надо, не одет ли костюм гражданский под зэковский? Так ведь вещи гражданские давно начисто у всех отметены и до конца срока не отдадут, сказали. А конца срока в этом лагере ни у кого еще не было. И проверить -- письма не несет ли, чтоб через вольного толкануть? Да только у каждого письмо искать -- до обеда проканителишься. Но крикнул что-то Волковой искать -- и надзиратели быстро перчатки поснимали, телогрейки велют распустить (где каждый тепло барачное спрятал), рубахи расстегнуть -- и лезут перещупывать, не поддето ли чего в обход устава. Положено зэку две рубахи -- нижняя да верхняя, остальное снять! -- вот как передали зэки из ряда в ряд приказ Волкового. Какие раньше бригады прошли -- ихее счастье, уж и за воротами некоторые, а эти -- открывайся! У кого поддето -- скидай тут же на морозе! Так и начали, да неурядка у них вышла: в воротах уже прочистилось, конвой с вахты орет: давай! давай!

И Волковой на 104-й сменил гнев на милость: записывать, на ком что лишнее, вечером сами пусть в каптерку сдадут и объяснительную записку напишут: как и почему скрыли. На Шухове-то все казенное, на, щупай -- грудь да душа, а у Цезаря рубаху байковую записали, а у Буйновского, кесь, жилетик или напузник какой-то. Буйновский -- в горло, на миноносцах своих привык, а в лагере трех месяцев нет: -- Вы *права* не имеете людей на морозе раздевать! Вы *девятую* статью уголовного кодекса не знаете!... Имеют. Знают. Это ты, брат, еще не знаешь. -- Вы не советские люди! -- долбаёт их капитан. Статью из кодекса еще терпел Волковой, а тут, как молния черная, передернулся: -- Десять суток строгого! И потише старшине: -- К вечеру оформишь. Они по утрам-то не любят в карцер брать: человеко-выход теряется. День пусть спину погнет, а вечером его в БУР. Тут же и БУР по левую руку от линейки: каменный, в два крыла. Второе крыло этой осенью достроили -- в одном помещаться не стали. На восемнадцать камер тюрьма, да одиночки из камер нагорожены. Весь лагерь деревянный, одна тюрьма каменная. Холод под рубаху зашел, теперь не выгонишь. Что укутаны были зэки -- все зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В койку больничную лечь бы сейчас -- и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы потяжельше. Стоят зэки перед воротами, застегиваются, завязываются, а снаружи конвой: -- Давай! Давай! И нарядчик в спины пихает: -- Давай! Давай! Одни ворота. Предзонник. Вторые ворота. И перила с двух сторон около вахты. -- Стой! -- шумит вахтер. -- Как баранов стадо. Разберись по пять! Уже рассмеркивалось. Догорал костер конвоя за вахтой. Они перед разводом всегда разжигают костер -- чтобы греться и чтоб считать виднее. Один вахтер громко, резко отсчитывал: -- Первая! Вторая! Третья! И пятерки отделялись и шли цепочками отдельными, так что хоть сзади, хоть спереди смотри: пять голов, пять спин, десять ног. А второй вахтер -- контролер, у других перил молча стоит, только проверяет, счет правильный ли. И еще лейтенант стоит, смотрит. Это от лагеря. Человек -- дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет -- свою голову туда добавишь. И опять бригада слилась вся вместе. И теперь сержант конвоя считает: -- Первая! Вторая! Третья! И пятерки опять отделяются и идут цепочками отдельными. И помощник начальника караула с другой стороны проверяет. И еще лейтенант. Это от конвоя. Никак нельзя ошибиться.

За лишнюю голову распишешься -- своей головой заменишь. А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеется над зэками. Конвоиры все в полушубках, лишь шестеро в тулупах. Тулупы у них сменные: тот надевает, кому на вышку идти. И еще раз, смешав бригады, конвой пересчитал всю колонну ТЭЦ по пятеркам. -- На восходе самый большой мороз бывает! -- объявил кавторанг. -- Потому что это последняя точка ночного охлаждения. Капитан любит вообще объяснять. Месяц какой -- молодой ли, старый, -- рассчитает тебе на любой год, на любой день. На глазах доходит капитан, щеки ввалились, -- а бодрый. Мороз тут за зоной при потягивающем ветерке крепко покусывал даже ко всему притерпевшееся лицо Шухова. Смекнув, что так и будет он по дороге на ТЭЦ дуть все время в морду, Шухов решил надеть тряпочку. Тряпочка на случай встречного ветра у него, как и у многих других, была с двумя рубезочками длинными. Признали зэки, что тряпочка такая помогает. Шухов обхватил лицо по самые глаза, по низу ушей рубезочки провел, на затылке завязал. Потом затылок отворотом шапки закрыл и поднял воротник бушлата. Еще передний отворот шапчонки спустил на лоб. И так у него спереди одни глаза остались. Бушлат по поясу он хорошо затянул бечевочкой. Все теперь ладно, только рукавицы худые и руки уже застылые. Он тер и хлопал ими, зная, что сейчас придется взять их за спину и так держать всю дорогу. Начальник караула прочел ежедневную надоевшую арестантскую "молитву": -- Внимание, заключенные! В ходу следования соблюдать строгий порядок колонны! Не растягиваться, не набегать, из пятерки в пятерку не переходить, не разговаривать, по сторонам не оглядываться, руки держать только назад! Шаг вправо, шаг влево -- считается побег, конвой открывает огонь без предупреждения! Направляющий, шагом марш! И, должно, пошли передних два конвоира по дороге. Колыхнулась колонна впереди, закачала плечами, и конвой, справа и слева от колонны шагах в двадцати, а друг за другом через десять шагов, -- пошел, держа автоматы наготове. Снегу не было уже с неделю, дорога проторена, убита. Обогнули лагерь -- стал ветер наискось в лицо. Руки держа сзади, а головы опустив, пошла колонна, как на похороны.

И видно тебе только ноги у передних двух-трех, да клочок земли утоптанной, куда своими ногами переступить. От времени до времени какой конвоир крикнет: "Ю -- сорок восемь! Руки назад!", "Бэ -- пятьсот два! Подтянуться!" Потом и они реже кричать стали: ветер сечет, смотреть мешает. Им-то тряпочками завязываться не положено. Тоже служба неважная... В колонне, когда потеплей, все разговаривают -- кричи не кричи на них. А сегодня пригнулись все, каждый за спину переднего хоронится, и ушли в свои думки. Дума арестантская -- и та несвободная, все к тому ж возвращается, все снова ворошит: не нащупают ли пайку в матрасе? в санчасти освободят ли вечером? посадят капитана или не посадят? и как Цезарь на руки раздобыл свое белье теплое? Наверно, подмазал в каптерке личных вещей, откуда ж? Из-за того, что без пайки завтракал и что холодное все съел, чувствовал себя Шухов сегодня несатытым. И чтобы брюхо не занывало, есть не просило, перестал он думать о лагере, стал думать, как письмо будет скоро домой писать. Колонна прошла мимо деревообделочного, построенного зэками, мимо жилого квартала (собирали бараки тоже зэки, а живут вольные), мимо клуба нового (тоже зэки вс?, от фундамента до стенной росписи, а кино вольные смотрят), и вышла колонна в степь, прямо против ветра и против краснеющего восхода. Голый белый снег лежал до края, направо и налево, и деревца во всей степи не было ни одного. Начался год новый, пятьдесят первый, и имел в нем Шухов право на два письма. Последнее отослал он в июле, а ответ на него получил в октябре. В Усть-Ижме, там иначе был порядок, пиши хоть каждый месяц. Да чего в письме напишешь? Не чаще Шухов и писал, чем ныне. Из дому Шухов ушел двадцать третьего июня сорок первого года. В воскресенье народ из Поломни пришел от обедни и говорит: война. В Поломне узнала почта, а в Темген?ве ни у кого до войны радио не было. Сейчас-то, пишут, в каждой избе радио галдит, проводное. Писать теперь -- что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло -- тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь, какой бригадир у тебя Андрей Прокофьевич Тюрин. Сейчас с Кильдигсом, латышом, больше об чем говорить, чем с домашними. Да и они два раза в год напишут -- жизни их не поймешь. Председатель колхоза-де новый -- так он каждый год новый, их больше года не держат. Колхоз укрупнили -- так его и раньше укрупняли, а потом мельчили опять.

Ну, еще кто нормы трудодней не выполняет -- огороды поджали до пятнадцати соток, а кому и под самый дом обрезали. Еще, писала когда-то баба, был закон за норму ту судить и кто не выполнит -- в тюрьму сажать, но как-то тот закон не вступил. Чему Шухову никак не внять, это пишет жена, с войны с самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась: парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят повально или в город на завод, или на торфоразработки. Мужиков с войны половина вовсе не вернулась, а какие вернулись -- колхоза не признают: живут дома, работают на стороне. Мужиков в колхозе: бригадир Захар Васильич да плотник Тихон восьмидесяти четырех лет, женился недавно, и дети уже есть. Тянут же колхоз те бабы, каких еще с тридцатого года загнали, а как они свалятся -- и колхоз сдохнет. Вот этого-то Шухову и не понять никак: живут дома, а работают на стороне. Видел Шухов жизнь единоличную, видел колхозную, но чтобы мужики в своей же деревне не работали -- этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с сенокосом же как? Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни по-плотницки не ходят, чем сторона их была славна, ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть-таки один новый, веселый -- это ковры красить. Привез кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, пошло, и все больше таких мастаков -- *красиле'й* набирается: нигде не состоят, нигде не работают, месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да в уборку, а за то на одиннадцать месяцев колхоз ему справку дает, что колхозник такой-то отпущен по своим делам и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране и даже в самолетах летают, потому что время свое берегут, а деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют: пятьдесят рублей ковер на любой простыне старой, какую дадут, какую не жалко, -- а рисовать тот ковер будто бы час один, не более. И очень жена надежду таит, что вернется Иван и тоже в колхоз ни ногой, и тоже таким красил'м станет. И они тогда подымутся из нищеты, в какой она бьется, детей в техникум отдадут, и вместо старой избы гнилой новую поставят. Все красили' себе дома новые ставят, близ железной дороги стали дома теперь не пять тысяч, как раньше, а двадцать пять. Хоть сидеть Шухову еще немало, зиму-лето да зиму-лето, а вс? ж разбередили его эти ковры. Как раз для него работа, если будет лишение прав или ссылка.

Просил он тогда жену описать -- как же он будет красил? м, если отроду рисовать не умел? И что это за ковры такие дивные, что' на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет: наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть трех сортов: один ковер "Тройка" -- в упряжи красивой тройка везет офицера гусарского, второй ковер -- "Олень", а третий -- под персидский. И никаких больше рисунков нет, но и за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают. Потому что настоящий ковер не пятьдесят рублей, а тысячи стоит. Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры... По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что' завтра, что' через год да чем семью кормить. Обо всем за него начальство думает -- оно, будто, и легче. А как на волю ступишь?... Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются: в обход идут и тем живы. В обход бы и Шухов пробрался. Заработок, видать, легкий, огневой. И от своих деревенских отставать вроде обидно... Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился. Легкие деньги -- они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неуж он себе на воле верной работы не найдет. Да еще пустят ли когда на ту волю? Не навалят ли еще *десятки* ни за так?... Колонна тем временем дошла и остановилась перед вахтой широко раскинутой зоны *объекта*. Еще раньше, с угла зоны, два конвоира в тулупах отделились и побрели по полю к своим дальним вышкам. Пока всех вышек конвой не займет, внутрь не пустят. Начкар с автоматом за плечом пошел на вахту. А из вахты, из трубы, дым, не переставая, клубится: вольный вахтер всю ночь там сидит, чтоб доски не вывезли или цемент. Наперес?к через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок, -- солнце встает большое, красное, как бы во мгле. Рядом с Шуховым Алешка смотрит на солнце и радуется, улыбка на губы сошла. Щеки вваленные, на пайке сидит, нигде не подрабатывает -- чему рад? По воскресеньям вс? с другими баптистами шепчется. С них лагеря, как с гуся вода.

По двадцать пять лет вкатили им за баптистскую веру -- неуж думают тем от веры отвадить? Намордник дорожный, тряпочка, за дорогу вся отмокла от дыхания и кой-где морозом прихватилась, коркой стала ледяной. Шухов ее ссунул с лица на шею и стал к ветру спиной. Нигде его особо не продрало, а только руки озябли в худых рукавичках, да онемели пальцы на левой ноге: валенок-то левый горетый, второй раз подшитый. Поясницу и спину всю до плечей тянет, ломает -- как работать? Оглянулся -- и на бригадира лицом попал, тот в задней пятерке шел. Бригадир в плечах здоров, да и образ у него широкий. Хмур стоит. Смеху?чками он бригаду свою не жалуется, а кормит -- ничего, о большой пайке заботлив. Сидит он второй срок, сын ГУЛАГа, лагерный обычай знает напрож?г. Бригадир в лагере -- это вс?: хороший бригадир тебе жизнь вторую даст, плохой бригадир в деревянный бушлат загонит. Андрея Прокофьевича знал Шухов еще по Усть-Ижме, только там у него в бригаде не был. А когда с Усть-Ижмы, из общего лагеря, перегнали пятьдесят восьмую статью сюда, в каторжный, -- тут его Тюрин подобрал. С начальником лагеря, с ППЧ, с прорабами, с инженерами Шухов дела не имеет: везде его бригадир застоит, грудь стальная у бригадира. Зато шевельнет бровью или пальцем покажет -- беги, делай. Кого хошь в лагере обманывай, только Андрей Прокофьевича не обманывай. И будешь жив. И хочется Шухову спросить бригадира, там же ли работать, где вчера, на другое ли место переходить -- а боязно перебивать его высокую думу. Только что Соцгородок с плеч спихнул, теперь, бывает, процентовку обдумывает, от нее пять следующих дней питания зависят. Лицо у бригадира в рябинах крупных, от оспы. Стоит против ветра -- не поморщится, кожа на лице -- как кора дубовая. Хлопают руками, перетаптываются в колонне. Злой ветерок! Уж, кажется, на всех шести вышках попки сидят -- опять в зону не пускают. Бдительность травят. Ну! Вышли начкар с контролером из вахты, по обоим сторонам ворот стали, и ворота развели. -- Р-раз-берись по пятеркам! Пер-рвая! Втор-ра-я! Зашагали арестанты как на парод, шагом чуть не строевым. Только б в зону прорваться, там не учи, что делать. За вахтой вскоре -- будка конторы, около конторы стоит прораб, бригадиров заворачивает, да они и сами к нему. И Дэр туда, десятник из зэков, сволочь хорошая, своего брата-зэка хуже собак гоняет.

Восемь часов, пять минут девятого (только что энергопоезд прогудел), начальство боится, как бы зэки время не потеряли, по обогревалкам бы не рассыпались -- а у зэков день большой, на все время хватит. Кто в зону зайдет, наклоняется: там щепочка, здесь щепочка, нашей печке огонь. И в норы заюркивают. Тюрин велел Павлу, помощнику, идти с ним в контору. Туда же и Цезарь свернул. Цезарь богатый, два раза в месяц посылки, всем сунул, кому надо, -- и *придурком* работает в конторе, помощником нормировщика. А остальная 104-я сразу в сторону, и д?ру, д?ру. Солнце вошло красное, мглистое над зоной пустой: где щиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная начатая, да у фундамента и брошенная, там экскаватора рукоять переломленная лежит, там ковш, там хлам железный, канав понарыто, траншей, ям наворочено, авторемонтные мастерские под перекрытие выведены, а на бугре -- ТЭЦ в начале второго этажа. И -- попрятались все. Только шесть часовых стоят на вышках, да около конторы суета. Вот этот-то наш миг и есть! Старший прораб сколько, говорят, грозился разнарядку всем бригадам давать с вечера -- а никак не наладят. Потому что с вечера до утра у них все наоборот поворачивается. А миг -- наш! Пока начальство разберется -- приткнись, где потеплей, сядь, сиди, еще наломаешь спину. Хорошо, если около печки -- портянки переобернуть да согреть их малость. Тогда во весь день ноги будут теплые. А и без печки -- все одно хорошо. Сто четвертая бригада вошла в большой зал в авторемонтных, где остеклено с осени и 38-я бригада бетонные плиты льет. Одни плиты в формах лежат, другие стоймя наставлены, там арматура сетками. Доверху высоко и пол земляной, тепло тут не будет тепло, а все ж этот зал обтапливают, угля не жалеют: не для того, чтоб людям греться, а чтобы плиты лучше схватывались. Даже градусник висит, и в воскресенье, если лагерь почему на работу не выйдет, вольный тоже топит. Тридцать восьмая, конечно, чужих никого к печи не допускает, сама обседа, портянки сушит. Ладно, мы и тут, в уголку, ничего. Задом ватных брюк, везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край деревянной формы, а спиной в стенку уперся. И когда он отклонился -- натянулись его бушлат и телогрейка, и левой стороной груди, у сердца, он ощутил, как подавливает твердое что-то. Это твердое было -- из внутреннего карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую он взял себе на обед.

Всегда он столько с собой и брал на работу и не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а нонче не съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил: засосало его сейчас ту пайку съесть в тепле. До обеда -- пять часов, протяжно. А что в спине поламывало -- теперь в ноги перешло, ноги такие слабые стали. Эх, к печечке бы!... Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой дорожный, оледеневший развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман спрятал. Тогда достал хлебушек в белой тряпочке и, держа тряпочку в запазушке, чтобы ни крошка мимо той тряпочки не упала, стал помалу-помалу откусывать и жевать. Хлеб он пронес под двумя одежками, грел его собственным теплом -- и оттого он не мерзлый был ничуть. В лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели: картошку -- целыми сковородами, кашу -- чугунами, а еще раньше, по-без-колхозов, мясо -- ломтями здоровыми. Да молоко дули -- пусть брюхо лопнет. А не надо было так, понял Шухов в лагерях. Есть надо -- чтоб думка была на одной еде, вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, и языком их мнешь, и щеками подсасываешь -- и такой тебе духовитый этот хлеб черный сырой. Что' Шухов ест восемь лет, девятый? Ничего. А ворочает? Хо-го! Так Шухов занят был своими двумястами граммами, а близ него в той же стороне приютилась и вся 104-я. Два эстонца, как два брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе, по очереди, курили половинку сигареты из одного мундштука. Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало. Бригадир никогда их и не разлучал. И ели они все пополам, и спали на вагонке сверху на одной. И когда стояли в колонне, или на разводе ждали, или на ночь ложились -- все промеж себя толковали, всегда негромко и неторопливо. А были они вовсе не братья и познакомились уж тут, в 104-й. Один, объясняли, был рыбак с побережья, другого же, когда Советы уставились, ребенком малым родители в Швецию увезли. А он вырос и самодумкой назад институт кончать. Тут его и взяли сразу. Вот, говорят, нация ничего не означает, во всякой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев сколь Шухов ни видал -- плохих людей ему не попадалось. И все сидели -- кто на плитах, кто на опалубке для плит, кто на земле прямо. Говорить-то с утра язык не ворочается, каждый в мысли свои уперся.

Фетюков-шакал насобирал где-то окурков (он их и из плевательницы вывернет, не погребует), теперь на коленях их разворачивал и неперегоревший табачок сыпал в одну бумажку. У Фетюкова на воле детей трое, но как сел -- от него все отказались, а жена замуж вышла: так помощи ему ниоткуда. Буйновский косился-косился на Фетюкова, да и гавкнул: -- Ну, что заразу всякую собираешь! Губы тебе сифилисом обмечет! Брось! Кавторанг -- капитан, значит, второго рангу, -- он командовать привык, он со всеми людьми так разговаривает, как командует. Но Фетюков от Буйновского ни в чем не зависит -- кавторангу посылки тоже не идут. И, недобро усмехнувшись ртом полупустым, сказал: -- Подожди, кавторанг, восемь лет посидишь -- еще и ты собирать будешь. Это верно, и гордей кавторанга люди в лагерь приходили... -- Чего-чего? -- не дослышал глуховатый Сенька Клевшин. Он думал -- про то разговор идет, как Буйновский сегодня на разводе погорел. -- Залупаться не надо было! -- сокрушенно покачал он головой. -- Обошлось бы все. Сенька Клевшин -- он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно, еще в сорок первом. Потом в плен попал, бежал три раза, излавливали, сунули в Бухенвальд. В Бухенвальде чудом смерть обминул, теперь отбывает срок тихо. Будешь залупаться, говорит, пропадешь. Это верно, кряхти да гнись. А упрешься -- переломишься. Алексей лицо в ладони окунул, молчит. Молитвы читает. Доел Шухов пайку свою до самых рук, однако голой корочки кусок -- полукруглой верхней корочки -- оставил. Потому что никакой ложкой так дочиста каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед, тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов, пусть теперь на работу шлют. А лучше б и еще помедлили. Тридцать восьмая бригада встала, разошлась: кто к растворомешалке, кто за водой, кто к арматуре. Но ни Тюрин не шел к своей бригаде, ни помощник его Павло. И хоть сидела 104-я вряд ли минут двадцать, а день рабочий -- зимний, укороченный -- был у них до шести, уж всем казалось большое счастье, уж будто и до вечера теперь недалеко. -- Эх, буранов давно нет! -- вздохнул краснолицый упитанный латыш Кильдигс. -- За всю зиму -- ни бурана! Что за зима?! -- Да... буранов... буранов... -- перевздохнула бригада.

Когда задует в местности здешней буран, так не то что на работу не ведут, а из барака вывести боятся: от барака до столовой если веревку не протянешь, то и заблудишься. Замерзнет арестант в снегу -- так пес его ешь. А ну-ка убежит? Случаи были. Снег при буране мелочкий-мелочкий, а в сугроб ложится, как прессует его кто. По такому сугробу, через проволоку переметанному, и уходили. Недалеко, правда. От бурана, если рассудить, пользы никакой: сидят зэки под замком; уголь не вовремя, тепло из барака выдует; муки в лагерь не подвезут -- хлеба нет; там, смотришь, и на кухне не справились. И сколько бы буран тот ни дул -- три ли дня, неделю ли, -- эти дни засчитывают за выходные и столько воскресений подряд на работу выгонят. А все равно любят зэки буран и молят его. Чуть ветер покрепче завернет -- все на небо запрокидываются: матерьяльчику бы! матерьяльчику! Снежку, значит. Потому что от поземки никогда бурана стоящего не разыграется. Уж кто-то полез греться к печи 38-й бригады, его оттуда шуранули. Тут в зал вошел и Тюрин. Мрачен был он. Поняли бригадники: что-то делать надо, и быстро. -- Та-ак, -- огляделся Тюрин. -- Все здесь, сто четвертая? И не проверяя и не пересчитывая, потому что никто у Тюрина никуда уйти не мог, он быстро стал разнаряжать. Эстонцев двоих да Клевшина с Гопчиком послал большой растворный ящик неподалеку взять и нести на ТЭЦ. Уж из того стало ясно, что переходит бригада на недостроенную и поздней осенью брошенную ТЭЦ. Еще двоих послал он в инструменталку, где Павло получал инструмент. Четверых нарядил снег чистить около ТЭЦ, и у входа там в машинный зал, и в самом машинном зале, и на трапах. Еще двоим велел в зале том печь топить -- углем и досок спереть, поколоть. И одному цемент на санках туда везти. И двоим воду носить, а двоим песок, и еще одному из-под снега песок тот очищать и ломом разбивать. И после всего того остались ненаряженными Шухов да Кильдигс -- первые в бригаде мастера. И, отозвав их, бригадир им сказал: -- Вот что, ребята! (А был не старше их, но привычка такая у него была -- "ребята".) С обеда будете шлакоблоками на втором этаже стены класть, там, где осенью шестая бригада покинула. А сейчас надо утеплить машинный зал. Там три окна больших, их в первую очередь чем-нибудь забить. Я вам еще людей на помощь дам, только думайте, чем забить. Машинный зал будет нам и растворная и обогривалка.

Не нагреем -- померзнем, как собаки, поняли? И может быть, еще б чего сказал, да прибежал за ним Гопчик, хлопец лет шестнадцати, розовенький, как поросенок, с жалобой, что растворного ящика им другая бригада не дает, дерутся. И Тюрин умахнул туда. Как ни тяжело было начинать рабочий день в такой мороз, но только начало это, и важно было переступить только его. Шухов и Кильдигс посмотрели друг на друга. Они не раз уж работали вдвоем и уважали друг в друге и плотника и каменщика. Издобыть на снегу на голом, чем окна те зашить, не было легко. Но Кильдигс сказал: -- Ваня! Там, где дома сборные, знаю я такое местечко -- лежит здоровый рулон толя. Я ж его сам и прикрыл. Махнем? Кильдигс хотя и латыш, но русский знает, как родной, -- у них рядом деревня была старообрядческая, сыздетства и научился. А в лагерях Кильдигс только два года, но уже все понимает: не выкусишь -- не выпросишь. Зовут Кильдигса Ян, Шухов тоже зовет его Ваня. Решили идти за толем. Только Шухов прежде сбегал тут же в строящемся корпусе авторемонтных взять свой мастерок. Мастерок -- большое дело для каменщика, если он по руке и легок. Однако на каждом объекте такой порядок: весь инструмент утром получили, вечером сдали. И какой завтра инструмент захватишь -- это от удачи. Но Шухов однажды обсчитал инструментальщика и лучший мастерок зажилил. И теперь каждый вечер он его перепрятывает, а утро каждое, если кладка будет, берет. Конечно, погнали б сегодня 104-ю на Соцгородок -- и опять Шухов без мастерка. А сейчас камешек отвалил, в щелку пальцы засунул -- вот он, вытянул. Шухов и Кильдигс вышли из авторемонтных и пошли в сторону сборных домов. Густой пар шел от их дыхания. Солнце уже поднялось, но было без лучей, как в тумане, а по бокам солнца вставали, кесь, столбы. -- Не столбы ли? -- кивнул Шухов Кильдигсу. -- А нам столбы не мешают, -- отмахнулся Кильдигс и засмеялся. -- Лишь бы от столба до столба колючку не натянули, ты вот что смотри. Кильдигс без шутки слова не знает. За то его вся бригада любит. А уж латыши со всего лагеря его почитают как! Ну, правда, питается Кильдигс нормально, две посылки каждый месяц, румяный, как и не в лагере он вовсе. Будешь шутить. Ихнего объекта зона здорова' -- пока-а пройдешь через всю. Попались по дороге из 82-й бригады ребятишки -- опять их ямки долбать заставили.

Ямки нужны невелики: пятьдесят на пятьдесят и глубины пятьдесят, да земля та и летом, как камень, а сейчас морозом схваченная, пойдя ее угрызи. Долбают ее киркой -- скользит кирка, и только искры сыплются, а земля -- ни крошки. Стоят ребятки каждый над своей ямкой, оглянутся -- греться им негде, отойти не велят, -- давай опять за кирку. От нее все тепло. Увидел среди них Шухов знакомого одного, вятича, и посоветовал: -- Вы бы, слышь, землерубы, над каждой ямкой теплянку развели. Она б и оттаяла, земля-та. -- Не велят, -- вздохнул вятич. -- Дров не дают. -- Найти надо. А Кильдигс только плюнул. -- Ну, скажи, Ваня, если б начальство умное было -- разве поставило бы людей в такой мороз кирками землю долбать? Еще Кильдигс выругался несколько раз неразборчиво и смолк, на морозе не разговоришься. Шли они дальше и дальше и подошли к тому месту, где под снегом были погребены щиты сборных домов. С Кильдигсом Шухов любит работать, у него одно только плохо -- не курит, и табаку в его посылках не бывает. И правда, приметчив Кильдигс: приподняли вдвоем доску, другую -- а под них толя рулон закатан. Вынули. Теперь -- как нести? С вышки заметят -- это ничто: у попок только та забота, чтоб зэки не разбежались, а внутри рабочей зоны хоть все щиты на щепки поруби. И надзиратель лагерный если навстречу попадетса -- тоже ничто: он сам приглядывается, что б ему в хозяйство пошло. И работягам всем на эти сборные дома наплевать. И бригадирам тоже. Печется об них только прораб вольный, да десятник из зэков, да Шкуропатенко долговязый. Никто он, Шкуропатенко, просто зэк, но душа вертухайская. Выписывают ему наряд-повременку за то одно, что он сборные дома от зэков караулит, не дает растаскивать. Вот этот-то Шкуропатенко их скорей всего на открытом прозоре и подловит. -- Вот что, Ваня, плашмя нести нельзя, -- придумал Шухов, -- давай его стоя в обнимку возьмем и пойдём так легонько, собой прикрывая. Издаля не разберет. Ладно придумал Шухов. Взять рулон неудобно, так не взяли, а стиснули между собой как человека третьего -- и пошли. И со стороны только и увидишь, что два человека идут плотно. -- А потом на окнах прораб увидит этот толь, все одно догадается, -- высказал Шухов. -- А мы при чем? -- удивился Кильдигс. -- Пришли на ТЭЦ, а уж там, мол, *было так*. Неужто срывать? И то верно. Ну, пальцы в худых рукавицах окостенели, прямо совсем не слышно.

А валенок левый держит. Валенки -- это главное. Руки в работе разойдутся. Прошли целиною снежной -- вышли на санный полоз от инструменталки к ТЭЦ. Должно быть, цемент вперед провезли. ТЭЦ стоит на бугре, а за ней зона кончается. Давно уж на ТЭЦ никто не бывал, все подступы к ней снегом ровным опеленаты. Тем ясней полоз санный и тропка свежая, глубокие следы -- наши прошли. И чистят уже лопатами деревянными около ТЭЦ и дорогу для машины. Хорошо бы подъемничек на ТЭЦ работал. Да там мотор перегорел, и с тех пор, кажись, не чинили. Это опять, значит, на второй этаж все на себе. Раствор. И шлакоблоки. Стояла ТЭЦ два месяца, как скелет серый, в снегу, покинутая. А вот пришла 104-я. И в чем ее души держатся? -- брюхи пустые поясами брезентовыми затянуты; морозяка трещит; ни обогревалки, ни огня искорки. А все ж пришла 104-я -- и опять жизнь начинается. У самого входа в машинный зал развалился ящик растворный. Он дряхлый был, ящик, Шухов и не чаял, что его донесут целым. Бригадир поматюгался для порядка, но видит -- никто не виноват. А тут катят Кильдигс с Шуховым, толь меж собой несут. Обрадовался бригадир и сейчас перестановку затеял: Шухову -- трубу к печке ладить, чтоб скорей растопить, Кильдигсу -- ящик чинить, а эстонцы ему два на помощь, а Сеньке Клевшину -- на' топор, и планок долгих наколоть, чтоб на них толь набивать: толь-то у'же окна в два раза. Откуда планок брать? Чтобы обогревалку сделать, на это прораб досок не выпишет. Оглянулся бригадир, и все оглянулись, один выход: отбить пару досок, что как перила к трапам на второй этаж пристроены. Ходить -- не зевать, так не свалишься. А что ж делать? Кажется, чего бы зэку десять лет в лагере горбить? Не хочу, мол, да и только. Волочи день до вечера, а ночь наша. Да не выйдет. На то придумана -- бригада. Да не такая бригада, как на воле, где Иван Иванычу отдельно зарплата и Петру Петровичу отдельно зарплата. В лагере бригада -- это такое устройство, чтоб не начальство зэков понукало, а зэки друг друга. Тут так: или всем *дополнительное*, или все подышайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, падло! А еще подождет такой момент, как сейчас, тем боле не рассидишься. Волен не волен, а скачи да прыгай, поворачивайся. Если через два часа обогревалки себе не сделаем -- пропадем тут все на хрен. Инструмент Павло принес уже, только разбирай.

И труб несколько. По жестяному делу инструмента, правда, нет, но есть молоточек слесарный да топорик. Как-нибудь. Похлопает Шухов рукавицами друг об друга, и составляет трубы, и оббивает в стыках. Опять похлопает и опять оббивает (а мастеров тут же и спрятал недалеко. Хоть в бригаде люди свои, а подменить могут. Тот же и Кильдигс). И -- как вымело все мысли из головы. Ни о чем Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал -- как ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымило. Гопчика послал проволоку искать -- подвесить трубу у окна на выходе. А в углу еще приземистая печь есть с кирпичным выводом. У ней плита железная поверху, она калится, и на ней песок отмерзает и сохнет. Так ту печь растопили, и на нее кавторанг с Фетюковым носилками песок носят. Чтоб носилки носить -- ума не надо. Вот и ставит бригадир на ту работу бывших начальников. Фетюков, кесь, в какой-то конторе большим начальником был. На машине ездил. Фетюков по первым дням на кавторанга даже хвост поднял, покрикивал. Но кавторанг ему двинул в зубы раз, на том и поладили. Уж к печи с песком сунулись ребята греться, но бригадир предупредил: -- Эх, сейчас кого-то в лоб огрею! Оборудуйте сперва! Битой собаке только плеть покажи. И мороз лют, но бригадир лютей. Разошлись ребята опять по работам. А бригадир, слышит Шухов, тихо Павлу: -- Ты оставайся тут, держи крепко. Мне сейчас процентовку закрывать идти. От процентовки больше зависит, чем от самой работы. Который бригадир умный -- тот не так на работу, как на процентовку налегает. С ей кормимся. Чего не сделано -- докажи, что сделано; за что дешево платят -- оберни так, чтоб дороже. На это большой ум у бригадира нужен. И блат с нормировщиками. Нормировщикам тоже *нести* надо. А разобраться -- для кого эти все проценты? Для лагеря. Лагерь через то со строительства тысячи лишние выгребают да своим лейтенантам премии выписывают. Тому ж Волковому за его плетку. А тебе -- хлеба двести грамм лишних в вечер. Двести грамм жизнью правят. На двести граммах Беломорканал построен. Принесли воды два ведра, а она по дороге льдом схватилась. Рассудил Павло -- нечего ее и носить. Скорее тут из снега натопим. Поставили ведра на печку. Припер Гопчик проволоки алюминиевой новой -- той, что провода электрики тянут. Докладывает: -- Иван Денисыч! На ложки хорошая проволока. Меня научите ложку отлить? Этого Гопчика, плута, любит Иван Денисыч

Посадили Гопчика за то, что бендеровцам в лес молоко носил. Срок дали как взрослому. Он -- теленок ласковый, ко всем мужикам ластится. А уж и хитрость у него: посылки свои в одиночку ест, иногда по ночам жует. Да ведь всех и не накормишь. Отломили проволоки на ложки, спрятали в углу. Состроил Шухов две доски, вроде стремянки, послал по ней Гопчика подвесить трубу. Гопчик, как белка, легкий -- по перекладам взобрался, прибил гвоздь, проволоку накинул и под трубу подпустил. Не поленился Шухов, самый-то выпуск трубы еще с одним коленом вверх сделал. Сегодня нет ветру, а завтра будет -- так чтоб дыму не задувало. Надо понимать, печка эта -- для себя. А Сенька Клевшин уже планок долгих наколот. Гопчика-хлопчика и прибивать заставили. Лазит, чертеныш, кричит сверху. Солнце выше подтянулось, мглицу разогнало, и столбов не стало -- и алым заиграло внутри. Тут и печку затопили дровами ворованными. Куда радостней! -- В январе солнышко коровке бок согрело! -- объявил Шухов. Кильдигс ящик растворный сбивать кончил, еще топориком пристукнул, закричал: -- Слышь, Павло, за эту работу с бригадира сто рублей, меньше не возьму! Смеется Павло: -- Сто грамм получишь. -- Прокурор добавит! -- кричит Гопчик сверху. -- Не трогьте, не трогьте! -- Шухов закричал. (Не так толь резать стали.) Показал -- как. К печке жестяной народу налезло, разогнал их Павло. Кильдигсу помощь дал и велел растворные корытца делать -- наверх раствор носить. На подноску песка еще пару людей добавил. Наверх послал -- чистить от снега подмости и саму кладку. И еще внутри одного -- песок разогретый с плиты в ящик растворный кидать. А снаружи мотор зафырчал -- шлакоблоки возить стали, машина пробивается. Выбежал Павло руками махать -- показывать, куда шлакоблоки скидывать. Одну полосу толя нашили, вторую. От толя -- какое укывище? Бумага -- она бумага и есть. А все ж вроде стенка сплошная стала. И -- темней внутри. Оттого печь ярче. Алешка угля принес. Одни кричат ему: сыпь! Другие: не сыпь! Хоть при дровах погреемся! Стал, не знает, кого слушать. Фетюков к печке пристроился и сует же, дурак, валенки к самому огню. Кавторанг его за шиворот поднял и к носилкам пихает: -- Иди песок носить, фитиль! Кавторанг -- они на лагерную работу как на морскую службу смотрит: сказано делать -- значит, делай! Осунулся крепко кавторанг за последний месяц, а упряжку тянет.

Долго ли, коротко ли -- вот все три окна толем зашили. Только от дверей теперь и свету. И холоду от них же. Велел Павло верхнюю часть дверей забить, а нижнюю покинуть -- так, чтоб, голову нагнувши, человек войти мог. Забили. Тем временем шлакоблоков три самосвала привезли и сбросили. Задача теперь -- поднимать их как без подъемника? -- Каменщики! Ходимте, подывимось! -- пригласил Павло. Это -- дело почетное. Поднялись Шухов и Кильдигс с Павлом наверх. Трап и без того узок был, да еще теперь Сенька перила сбил -- жмись к стене, каб вниз не опрокинуться. Еще то плохо -- к перекладинам трапа снег примерз, округлил их, ноге упору нет -- как раствор носить будут? Поглядели, где стены класть, уж с них лопатами снег снимают. Вот тут. Надо будет со старой кладки топориком лед сколоть да веничком промести. Прикинули, откуда шлакоблоки подавать. Вниз заглянули. Так и решили: чем по трапу таскать, четверых снизу поставить кидать шлакоблоки вон на те подмости, а тут еще двоих, перекидывать, а по второму этажу еще двоих, подносить, -- и все ж быстрее будет. Наверху ветерок не сильный, но тянет. Продует, как класть будем. А за начатую кладку зайдешь, укроешься -- ничего, теплей намного. Шухов поднял голову на небо и ахнул: небо чистое, а солнышко почти к обеду поднялось. Диво дивное: вот время за работой идет! Сколь раз Шухов замечал: дни в лагере катятся -- не оглянешься. А срок сам -- ничуть не идет, не убавляется его вовсе. Спустились вниз, а там уж все к печке уселись, только кавторанг с Фетюковым песок носят. Разгневался Павло, восемь человек сразу выгнал на шлакоблоки, двум велел цементу в ящик насыпать и с песком насухую размешивать, того -- за водой, того -- за углем. А Кильдигс -- своей команде: -- Ну, мальцы, надо носилки кончать. -- Бывает, и я им помогу? -- Шухов сам у Павла работу просит. -- Поможи'ть. -- Павло кивает. Тут бак принесли, снег растапливать для раствора. Слышали от кого-то, будто двенадцать часов уже. -- Не иначе как двенадцать, -- объявил и Шухов. -- Солнышко на перевале уже. -- Если на перевале, -- отозвался кавторанг, -- так значит не двенадцать, а час. -- Это почему ж? -- поразился Шухов. -- Всем дедам известно: всего выше солнце в обед стоит. -- То -- дедам! -- отрубил кавторанг. -- А с тех пор декрет был, и солнце выше всего в час стоит. -- Чей же эт декрет? -- Советской власти! Вышел кавторанг с носилками, да Шухов бы и спорить не стал.

Краткое содержание

Крестьянин и фронтовик Иван Денисович Шухов оказался «государственным преступником», «шпионом» и попал в один из сталинских лагерей, подобно миллионам советских людей, без вины осуждённых во времена «культы личности» и массовых репрессий. Он ушёл из дома 23 июня 1941 г., на второй день после начала войны с гитлеровской Германией, «...в феврале сорок второго года на Северо-Западном [фронте] окружили их армию всю, и с самолётов им ничего жрать не бросали, а и самолётов тех не было. Дошли до того, что строгали копыта с лошадей околевших, размачивали ту роговицу в воде и ели», то есть командование Красной Армии бросило своих солдат погибать в окружении. Вместе с группой бойцов Шухов оказался в немецком плену, бежал от немцев и чудом добрался до своих. Неосторожный рассказ о том, как он побывал в плену, привёл его уже в советский концлагерь, так как органы государственной безопасности всех бежавших из плена без разбора считали шпионами и диверсантами. Вторая часть воспоминаний и размышлений Шухова во время долгих лагерных работ и короткого отдыха в бараке относится к его жизни в деревне. Из того, что родные не посылают ему продуктов мы понимаем, что в деревне голодают не меньше, чем в лагере. Жена пишет Шухову, что колхозники зарабатывают на жизнь раскрашиванием фальшивых ковров и продажей их горожанам.

Если оставить в стороне ретроспекции и случайные сведения о жизни за пределами колючей проволоки, действие всей повести занимает ровно один день. В этом коротком временном отрезке перед нами развёртывается панорама лагерной жизни, своего рода «энциклопедия» жизни в лагере.

Во-первых, целая галерея социальных типов и вместе с тем ярких человеческих характеров: Цезарь — столичный интеллигент, бывший кинодеятель, который, впрочем, и в лагере ведёт сравнительно с Шуховым «барскую» жизнь: получает продуктовые посылки, пользуется некоторыми льготами во время работ; Кавторанг — репрессированный морской офицер; старик каторжанин, бывавший ещё в царских тюрьмах и на каторгах (старая революционная гвардия, не нашедшая общего языка с политикой большевизма в 30-е гг.); эстонцы и латыши — так называемые «буржуазные националисты»; баптист Алёша — выразитель мыслей и образа жизни очень разнородной религиозной России; Гопчик — шестнадцатилетний подросток, чья судьба показывает, что репрессии не различали детей и взрослых. Да и сам Шухов — характерный представитель российского крестьянства с его особой деловой хваткой и органическим складом мышления. На фоне этих пострадавших от репрессий людей вырисовывается фигура иного ряда — начальника режима Волкова, регламентирующего жизнь заключённых и как бы символизирующего беспощадный коммунистический режим.

Во-вторых, детальнейшая картина лагерного быта и труда. Жизнь в лагере остаётся жизнью со своими видимыми и невидимыми страстями и тончайшими переживаниями. В основном они связаны с проблемой добывания еды. Кормят мало и плохо жуткой баландой с мёрзлой капустой и мелкой рыбой. Своего рода искусство жизни в лагере состоит в том, чтобы достать себе лишнюю пайку хлеба и лишнюю миску баланды, а если повезёт — немного табаку. Ради этого приходится идти на величайшие хитрости, выслуживаясь перед «авторитетами» вроде Цезаря и других. При этом важно сохранить своё человеческое достоинство, не стать «опустившимся» попрошайкой, как, например, Фетюков (впрочем, таких в лагере мало). Это важно не из высоких даже соображений, но по необходимости: «опустившийся» человек теряет волю к жизни и обязательно погибает. Таким образом, вопрос о сохранении в себе образа человеческого становится вопросом выживания. Второй жизненно важный вопрос — отношение к подневольному труду. Заключённые, особенно зимой, работают в охотку, чуть ли не соревнуясь друг с другом и бригада с бригадой, для того чтобы не замёрзнуть и своеобразно «сократить» время от ночлега до ночлега, от кормёжки до кормёжки. На этом стимуле и построена страшная система коллективного труда. Но она тем не менее не до конца истребляет в людях естественную радость физического труда: сцена строительства дома бригадой, где работает Шухов, — одна из самых вдохновенных в повести.

Умение «правильно» работать (не перенапрягаясь, но и не отлынивая), как и умение добывать себе лишние пайки, тоже высокое искусство. Как и умение спрятать от глаз охранников подвернувшийся кусок пилы, из которого лагерные умельцы делают миниатюрные ножички для обмена на еду, табак, тёплые вещи... В отношении к охранникам, постоянно проводящим «шмоны», Шухов и остальные Заключённые находятся в положении диких зверей: они должны быть хитрее и ловчее вооружённых людей, обладающих правом их наказать и даже застрелить за отступление от лагерного режима. Обмануть охранников и лагерное начальство — это тоже высокое искусство.

Тот день, о котором повествует герой, был, по его собственному мнению, удачен — «в карцер не посадили, на Соцгородок (работа зимой в голом поле — прим. ред.) бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу (получил лишнюю порцию — прим. ред.), бригадир хорошо закрыл процентовку (система оценки лагерного труда — прим. ред.), стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый. Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...»

